



В. В. Арамилев
В ДЫМУ ВОЙНЫ
Записки
вольнопределяющегося

1914—1917

• КУЧКОВО ПОЛЕ •

ВОЕННЫЕ



МЕМУАРЫ

В. В. Арамилев
В дыму войны. Записки
вольнопределяющегося.
1914-1917

Серия «Военные
мемуары (Кучково поле)»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17104137

*В дыму войны: Записки вольнопределяющегося. 1914-1917
годы. / Арамилев В. В.: Кучково поле; Москва; 2015
ISBN 978-5-9950-0543-8*

Аннотация

Книга писателя Араμίлева (1896–1954) – личный, полный ценных бытовых зарисовок об окопном быте взгляд на происходящее в Великой войне, непосредственным участником которой он был. Ее уникальность состоит в освещении сложных психологических моментов войны – таких как инстинкт самосохранения, жизнь в экстремальных условиях. Война у Араμίлева формирует особый тип психологии участника боевых действий, которую можно рассматривать как непрерывную череду пограничных ситуаций, бытие на грани жизни и смерти.

Содержание

Часть первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	46

В. В. Арамилев
В дыму войны: Записки
вольноопределяющегося.
1914–1917 годы

Публикуется по изданию

Арамилев В. В. В дыму войны. Записки вольноопределяющегося (1914–1917 гг.). – М., 1930. – 340 с.

Часть первая

Над городом мирно роняет первые звонкие, ведренные дни переломный месяц – август.

По утрам, когда лилово розовеет заря и курятся голубые туманы, из серебряной листвы садов перезвоном далеких колокольчиков разливается бойкий птичий стрекот.

Но все это кажется таким далеким и ненужным...

Жизнь – заласканная, убаюканная буднями, крепко стрепоженная косными формами вековых традиций – вдруг слетела с своих обтертых петель и закружилась в дикой свистопляске, в буйной водоверти, в осязатимом предчувствии чего-то невиданно жуткого и таинственного.

– Война!..

Я растерялся и не знаю, что делать. О продолжении научных работ, для которых по поручению университета я прибыл в эту глушь, не может быть и речи.

Меня могут призвать в армию.

Я, вероятно, вполне «созрел» для того, чтобы убивать и быть убитым.

Граве, мой помощник и однокашник по университету, советуется срочно ехать в Москву и хлопотать об отсрочке...

Но выехать не могу: у меня в нескольких районах разбросаны инструменты, аппараты и работают люди по моим заданиям. Для ликвидации дела нужно не менее двух месяцев.

– Будем ждать, – говорю я Граве.

Я третий день в уездном городке. Глушь несусветная рас-
качалась, и новым обликом щеголяют кривые переулки.

Идет мобилизация запасных. Город в нервозе, в животной панике, в тучах пыли. На улицах днем и ночью лихорадочное движение.

Раздражающе-зычный густой стон, дикие выкрики, истерические визги и плач женщин. Лохматый неумолчный гомон потревоженного людского муравейника время от времени прорывается отборной матерщиной, смертным хрипом и воплем венской гармошки...

Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья,
А завтра рано, чуть светочек,
Заплачет вся моя семья...

Площади и улицы городка напоминают пьяную ярмарку. У канцелярии воинского начальника гудит серая, безликая, звонкоголосая толпа.

Люди какие-то грязные, нечесанные, заспанные, раздраженные. По всем улицам бродят неуклюжие мужики с большими котомками за плечами, горланят песни, дикие и за-
унывные.

Для мобилизованных нет квартир. Казармы забиты до отказа пят на Соборной площади на земле, подложив под головы землистые торбы с сухарями.

Бабы с ребятишками ютятся тут же.

Соборная площадь похожа ночью на скифское становище... Горят огромные костры.

От площади, колыхаясь, тянется в бездонную голубень небес широкая сверкающая полоса огня.

Парусом вздуваются огневые снопы и, сторая в ломком хрустальном воздухе ночи, дробятся в ослепительном каскаде золотисто-оранжевых брызг.

Ветер бросает пригоршни искр по всему городу. Домовладельцы – им ведь костров разводить не надо: они сидят по своим квартирам – боясь пожара, жаловались воинскому начальнику, просили «прекратить» костры.

Но костры горят...

Бабы победоносно ворочают золотые головни, жарят на кострах ядреную картошку, сушат детские пеленки...

В городке много пьяных. Винные и пивные лавки закрыты, но, очевидно, не казенкой единой пьяна Русь.

Появились шинкари. Продают запрещенное вино по неслыханно высоким ценам. Городские мещанки оживленно торгуют хмельной бражкой и пивом домашнего изготовления.

В каждом домике с крашеными расписными ставнями, геранями на окошках – распивочно и навынос.

Краснощекие, сытые, грудастые девки лушат на крылечках семечки, заывают гостей выпить и закусить.



В городке каруселью кружатся слухи, фантастические и наивные.

Центральные газеты приходят с опозданием, расхватываются с бою.

Все оказались грамотными. Все вдруг захотели читать газеты. Все поголовно интересуются политикой, международным положением.

Запасные все еще без толку бродят по улицам.

На загорелых, угловатых, щетинистых, иконописных лицах какая-то тупая покорность и плохо скрытая злоба.

Мужу помешали жить, растревожили его как медведя в берлоге. Он сердится, но пока еще сам толком не знает, на кого: на немцев, на царя, на бога, на Отечество... Разобраться ему не легко, но я знаю и чувствую – он в конце концов разберется. И агенты тех, кто гонит его на войну, я ясно это вижу, боятся его. Отсюда эти «уступки» мобилизованным, отступление от твердых «правил», которым должно «следовать» «вверенное» начальству население.

В деревне самый разгар полевых работ, а бабы, приехавшие в городок с мобилизованными мужьями, ни за что не хотят уезжать домой, дожидаются отправки.

Они как тень, как жалкие, покорные собачонки бродят за мужьями, голосят, причитают, молятся утром на восток, на

церковь.

Горе сразило баб. Лица у баб красны и опухли от слез. Когда слезы застилают глаза, бабы поднимают подола панев и действуют ими как носовыми платками.

Вышли с Граве погулять.

На прогулке случайно познакомились с местным «поэтом» Львом Анчишкиным.

Он закончил юридический факультет, а пошел по литературной части. Патриот. Крепко и убежденно ругает немцев. Пламенно любит французов.

Читает в оригинале Бодлера, Мюссе, Гюго. Считает себя западником, передовым человеком, разносит расейскую отсталость.

Показывая пальцем на всхлипывающих у воинского присутствия баб, он с жаром заговорил:

– Какое жалкое создание эта русская баба!.. Я вот смотрю на них из окна каждый день и думаю: не ошибка ли природы? Зачем, для чего они живут на свете? Ходят по городу и канючат вместе с ребятами. Кого это трогает? Плачущая баба «заслуживает не больше внимания, чем босой гусь», как выразился один из писателей Запада...

Тысячи лет живут – и никакого прогресса... При Рюрике, при Владимире, при Иване Грозном в юбку сморкались, и сейчас вот, в двадцатом веке, в нее же сморкаются. И заметьте, не от бедности это, а от некультурности. Некультурность в крови русского народа...

– Эти вот Маланьи, Матрены – кариатиды, они переживут еще десятки войн и всяких революций, социальных и технических, а не сдвинутся со своей межи...

Через сто лет они так же будут лечить мочей трахому, наговором – сифилис, поить менструационной кровью своего любовника, во время ливня заворачивать юбку на голову и делать из нее зонтики. Нет, что вы ни говорите, а Лесков прав, утверждая, что «на русский народ хорошо смотреть только издали, когда он молится и верит».

И Достоевский прав, когда говорил, что мы торопливые люди – слишком поспешили с нашими мужичками. Мы их ввели в моду, и целый отдел литературы несколько лет сряду носился с ними как с новооткрытой драгоценностью. Мы надевали лавровые венки на вшивые головы... Русская деревня за всю тысячу лет дала нам лишь одного камаринского.

Какой-то «замечательный» русский поэт, увидев на сцене великую Рашель, воскликнул в восторге: «Не променяю Рашель на мужика». А Достоевский ответил: «Пора взглянуть трезвее и не смешивать нашего родного сиволапого дегтя с bouquet de Pimperatrice («букет императрицы»). Я всех русских мужиков отдам за одну Рашель». Здорово? Правда?

Так исходит бешеной слюной ненависти к народу «западник». Граве сочувственно кивает ему головой.

Я молча шагаю в ногу с поэтом. Спорить не хочется. Мысли другим заняты.

На фоне разворачивающихся мировых событий «прокля-

тый» вопрос о русском мужике, имеющий многовековую давность, кажется таким праздным, неуместным...

Простились мы дружески. Обменялись адресами. Обещал заходить ко мне вечерами.

* * *

Партию запасных отправляли в губернский город. Бабы задержали отправку поезда на два часа.

Они точно походили с ума... После третьего звонка многие с причитанием бросились под колеса поезда, распластались на рельсах, лезли на буфера, на подножки теплушек. Их невозможно было оторвать от мужей.

Это проводы...

На вокзал сбежалось все уездное начальство. Вид у начальства растерянный, жалкий. Не знают, как быть с бабами...

Вызвали специальный наряд из местной конвойной команды.

Конвойные бережно брали на руки присосавшихся к рельсам и вагонам баб, уносили их с перрона куда-то в глубь вокзала. Бабы кричали так, как-будто их резали.

У меня сидит поэт Анчишкин. Случайно забрел брат хозяина – сектант-толстовец, цепкий и ловкий начетчик Макар Афанасьевич Сюткин с лопатообразной русой бородой.

Энергичное чисто русское лицо испорчено оспой. Голубые чуть-чуть раскосые глаза отливают фантастическо-азиатским упрямством.

Поражает меня феноменальной памятью. Великолепный знаток Толстого. Цитирует на память целые страницы...

Во всем остальном, что не относится к толстовству, круглый невежда. Безграмотен.

Но говорит проникновенно. Искренен безусловно.

Слушая его, невольно прощаешь ему безграмотность, узко сектантскую резкость и любишь его им...

Был три года в ссылке в Восточной Сибири, сидел за свои убеждения несколько раз в тюрьме, и, как видно, ничто не сломило его.

Отрицает все: Запад, культуру, церковь. Резко высказывается против войны. Сцепился с Анчишкиным.

Когда Сюткин вышел, Анчишкин дал ему свою оценку.

– Эти «бунтари» государству неопасны. Пошеборшат немного для виду и сядут на свой шесток. Все эти, с позволения сказать, анархисты доморощенные философы, начиненные яснополянской окрошкой, проповедники, искатели

правды, справедливости, отрицатели, святоши и странники – просто юродствующие себялюбцы, пройдохи или дегенераты с разжиженными, отравленными монгольским фатализмом мозгами.

– А вы, Граве, как смотрите на это?

Он топорщится и краснеет как девица.

– Я того же мнения...

– Вы за войну, стало быть? – спрашиваю я в упор.

Лиловые пятна ползут через щеки и виски к кончикам его ушей. Пунцово-красный от натуги, он с комичной торжественностью говорит:

– Я не пасынок своей родины... И в грозный час испытаний не встану в ряды ее изменников и предателей.

– Ой, как громко!

Граве, насупившись, молчит.

Анчишкин крепко жмет ему руку.

– Молодец! Вы хоть и немец по происхождению, но по духу истинно русский человек.

– Давно известно, – говорю я, – что новообращенные католики щеголяют необычайной ревностью и бывают католичнее самого папы. Генрих Гейне констатировал это даже в отношении евреев, переходящих в католичество. То же самое можно сказать про иностранцев, акклиматизировавшихся в чужой стране.

Анчишкин сосредоточенно «сосет» желтую японскую сигаретку и барабанит пальцами по крышке стола.

Граве напружинился, готовый прыгнуть на меня. Щетина волос, коротко подстриженных ежиком, шевелится:

– Мы двести лет в России. Мой дед и прадед дышали русским воздухом, привольем российских степей... Какой я иностранец? И вообще это ослиное, кабацкое, эстрадное остроумие не делает вам чести...

* * *

Запасные разгромили две казенных винных лавки и «рейнской погреб» Магомета Тухваттуллина. Тухваттуллин бегал за погромщиками и на коленях умолял «пощадить его имущество». Плакал, целовал сапоги пьяных мужиков. Его отгалкивали и не слушали.

Все «имущество» (вино) тут же на улице делили и распи-вали.

Полиция, по-видимому, бессильная что-либо сделать для восстановления порядка, притаилась по углам, не подает признаков жизни.

Солдаты отказались стрелять в погромщиков.

В «правительственных сферах» городка страшное смятение. Затребованы силы из губернии.

Воинский запретил учителям женской гимназии устройство платного спектакля в пользу воинов.

В городке пьянство невообразимое...

Как-будто люди предчувствуют кончину мира и поэтому

торопятся все пропить.

То и дело вспыхивают кровопролитные драки.

В кривых пыльных переулках, укутанных белой акацией, рябиной и черемухой, надсадно визжит гармошка.

После казенок запасные начали громить бражниц и пивоварок. В настороженной тишине ласкового летнего вечера отчетливо слышен звон разбиваемых стекол...

Пьяные, дерзкие и похабные выкрики...

У бражниц, которые запираются на засовы, посрывали с петель двери.

Гулянье...

«Начальство» гуляет, конечно, за закрытыми дверями, немассовым порядком. Что за этими закрытыми дверями и окнами творится, мне неизвестно. Я наблюдаю лишь улицу.

* * *

Три недели сижу в этой окуривской дыре и изнываю от безделья.

Москва не отвечает на мои запросы, и я прикован молчанием к месту.

В городке все та же мобилизационная горячка и российская бестолочь.

Перебрался в губернский город.

Живу в «Европейской гостинице».

Грязь в этой «Европе» далеко не европейская. Неизменные полчища блох, клопов, тараканов, паутина в углах.

Цены за постой «по случаю войны» взвинчены вдвое.

Кит Китычи, как им и полагается, ловят рыбку в мутной воде.

Откуда-то съехалась масса народа. Номеров не хватает. Хозяин от удовольствия потирает руки. Кому война, кому прибыль.

В губернском городе то же самое, что в миниатюре наблюдал я в уезде. Разница лишь количественная. В делах, в людях – во всем.

Запасные разгромили на окраинах винные лавки и публичные дома. «Губернские ведомости» однако об этом ни слова. Ведь нужно отмечать «патриотический порыв», а не «омрачать» картину.

Центральных газет невозможно достать. Чистильщики сапог превратились в газетных спекулянтов. Сапоги чистить никто не хочет.

Спекулянты скупают утром все газеты и пускают их по «повышенной» цене.

Бульварная дрянь «Копейка» идет за двадцать копеек.

Это ли не ажиотаж?

Читающая публика на вокзале чуть не дерется из-за газет.

Если война затянется лет на пять, газетчики наживут миллионы.

Они должны быть стопроцентными патриотами.

* * *

В городе всеобщее опьянение войной.

Купцы и чиновники под руководством местной власти инсценируют непрерывные «патриотические» манифестации.

Собрания. Речи. Проповеди. Тосты.

– Все как один!..

– За веру!..

– За царя!..

– За Отечество!..

– За Русь!..

– За славянство!..

– За культуру!..

И, конечно, больше всего трясут патриотическими штанами те, которые никогда на фронт не поедут.

Опьянение войной разыгрывается со страниц охрипшей от желания угодить начальству казенной печати, с церковного амвона, со школьной кафедры, из мучных и мясных лабазов, с театральных подмостков, из среды местных земцев, которые, как говорят, всегда были «левее левого». Цена

этой левизны постигается только сейчас, демонстрируется, так сказать, публично.

Все хотят воевать. Все эти слои жаждут идти «бить немца». Всем им кажется, что война несет им выгоды, и все горят от имени «родины» и «народа».

Вечно влюбленные телеграфисты, писавшие в мирное время стихи в надсоновском духе – чуть-чуть похуже, теперь кричат о защите Отечества. Кто будет писать стихи?

Неужели в других городах то же самое?

Как-то Москва? Петербург?

По газетам трудно судить. Врут, как министры иностранных дел, как свахи. Знаем мы эти хвастливые фельетоны. Сами проживали в столицах...

* * *

Дождлся...

Мой год призывается в армию.

Заходил в управление воинского начальника. Записали в список, обязали явкой через три дня.

В город прибывают новобранцы из уездов. Держатся новобранцы свободнее, чем запасные. У них больше ухарства, задора, веселости.

А может быть, это от того, что они холостяки?

На улицах, на бульварах новобранцы при встрече с офицерами прикладывают ладонь правой руки к смятым карту-

зам, самодельным войлочным шляпам – отдают честь.

Неуклюже становятся во фронт генералам и военным врачам, которых принимают за генералов.

Генералы благосклонно морщатся, отвечают на приветствия небрежным взмахом руки.

* * *

Витрины магазинов назойливо кричат о войне, выпячивая на первый план всякую мишуру военного обихода.

Жеманно улыбаясь и любуясь собой, разгуливают группы вновь испеченных офицеров в тщательно пригнанных гимнастерках поднебесно-свинцового цвета.

Местные гимназистки и епархиалки окидывают офицеров влюбленно-восторженными взглядами.

Новобранцы внесли в город явно ощутимое оживление. Катаются по главной улице в пролетках и дрожках. Воздух оглашают скабрезные песни, пиликают гармошки.

Лошади в мыле, в пене, в бубенцах...

Экипажи убраны алыми, лентами, голубыми бумажными цветами. Может быть, алые ленты – символ крови?..

Прекрасные крутобокие жеребцы-полукровки вороной, серой и рыжей масти грациозно приплясывают под лихие переборы гармошек, под глухие взлеты бубна, под буйные выкрики пьяных седоков. Новобранцы пьяны не столько от алкогольных суррогатов, сколько от всероссийской суеты.

«Чистая» публика морщит нос от разгула «плебса» в центре города.

Гармошка, бубенцы, «Маруся отравилась» и «Последний нонешний денечек» – ведь это «не эстетично».

Но что же делать? Новобранцы – герои дня, защитники «веры», оплот «родины».

«Сам» грозный губернатор разрешил гармошку.

И «чистая» публика великодушно «прощает» и гармошки, и бубен, и все... Дамы бросают в экипажи новобранцев букетики жидких чахоточных оранжерейных цветов...

Мужчины приветствуют новобранцев дружескими возгласами.

Но, кажется, возгласы эти неискренни...

Цветы – дары данайцев...

* * *

В приемной воинского начальника давка и толкотня. Пахнет махоркой, брагой, потом, перегаром денатурированного спирта.

У дверей мобилизационного отдела колышется вереница голых бронзовых тел. Новобранцы.

Меня смерили, взвесили, справились о состоянии здоровья.

Зачислили в лейб-гвардию.

Через неделю отправка в Петербург.

Анчишкин мобилизован. Граве должен призываться в следующем году, но не выдержал и записался добровольцем.

Все трое – разные люди, с разным отношением к войне – едем вместе...

Спешно ликвидирую дела, распродаю вещи, любимые книги...

Москва по-прежнему молчит. Действую в отношении казенного имущества на свой страх и риск.

* * *

Едем в Питер. Шестьсот новобранцев. Специальный поезд – двадцать теплушек. В вагон натолкали по тридцать душ. Тесно. Шумно. Пахнет специфическим «русским» духом.

На вокзале тягостная сцена прощания. У каждого вагона голоса бабы – матери, жены, сестры...

Никаких патриотических восторгов не видеть...

Огромная толпа в сумерках угасающего дня кажется черной и безликой массой.

Все ближе и ближе подбирается она к вагонам, тоненькими струйками прорывая заградительную цепь патрулей.

Пьяненький мещанин в длинной голубой рубахе и в плисовых шароварах навывпуск, кружась около вагонов, лезет к каждому целоваться и высоким голосом выкрикивает:

– Проздравляю! Проздравляю! Уж вы там, ребятишки, то-

во, не подгадьте... Покажите немчуре кузькину мать.

Вой сливается в истерические выкрики.

Последний звонок... Последние напутствия, утешения, вздохи, ахи, проклятья, благословения, совета, просьбы, обещания, клятвы...

Толчок, царапающий нервы, лязг буферов...

Нам машут с платформы платками, полушалками.

Сдвинулись. Жалобно гукает и стонет паровозная глотка.

Паровоз жарко задышал дымом.

Тысячи глаз, мокрых от слез и напряженного любопытства, тянутся к нашим вагонам. Толпа пришла в движение, смяла патрули и бросилась вслед за убегающими вагонами...

Медленно уплываем от дебаркадера на Запад, в ласкающую мягкую синь августовского вечера.

Город, утопающий в складках тумана, мигает нам сотнями красноватых языков.

Отчаянно рыдающие, до бесчувствия однообразные переборы гармошек в каждом вагоне.

Это новобранцы запивают тоску.

Волны звуков сливаются в кошачью симфонию. С непривычки хочется удариться головой об стенку вагона и заснуть...

* * *

Едем, едем, едем.

Неподвижно стоят по сторонам ветвистые пирамидальные ели, пихты и сосны. Тяжелые иглистые прутья ядрено-зеленеющих деревьев четко вырисовываются в плотной голубизне нависшего над лесами неба.

Рассекая прозрачно-чистый и звонкий, как хрусталь, лесной воздух и ломая лязгом скрипучих вагонов чуткую тишину подкрадывающейся с севера осени, скользим по лоснящимся стальным путям вперед и вперед.

Долго стоим на узловых станциях, на разъездах.

Скорость – двести километров в сутки.

В каждом вагоне солдат с винтовкой.

Это – наши «дядьки».

Точное назначение дядек неясно ни нам, ни им. В общем они должны нас охранять. От кого? От чего?

Но само собой разумеется, что они должны блюсти «порядок».

В головном вагоне едет ядро охраны из пятнадцати человек под командой старшего унтер-офицера. Наши «дядьки» подчинены ему.

В каждом вагоне множество туесов, боченков с пивом и бражкой...

Пьянка. Веселье.

– Веселись, душа и тело...

– Отечеству защищать едем!..

Песни – озорные, лихие, буйные. Пляс. Пузырится, хрипит гармонь...

На каждой остановке все вываливаются из нутра вагонов на платформу.

Бесстыдно пристают к бабам, к девушкам, продающим ягоды, молоко...

На каждой остановке – драки.

Вагон на вагон. Стенка на стенку.

– У-р-р-ааа!!

Заводские на деревенских.

Уезд на уезд.

– У-р-р-ааа!!!

В Вологде догнали эшелон новобранцев-вятичей, отправляющихся в Москву в пехоту.

Через пять минут разыгрался форменный бой. Первое «крещение».

Вятичи в драке виртуозы. Пехота одолела императорскую гвардию.

С диким гиканьем, с соловьиным разбойным посвистом гоняли вятичи наших под вагонами, обстреливая щепнем и увесистыми талями.

Некоторых угнали в июле за станцию, ловили поодиночке и избивали.

Человек двадцать получили серьезные ранения: головы и лица в синяках, в крови.

Одному распорол финкой живот.

«Дядьки» наши не вмешиваются ни во что. Им выгоднее, чтобы новобранцы скоротали дорогу за такими «занятия-

ми», чем задумывались над тем, кто, куда и зачем их угоняет.

* * *

Когда драка приняла особо значительные размеры, грозившие целости «государева имущества», каким являются сейчас новобранцы, начальник конвоя вызвал для ликвидации драки городскую пожарную команду. Старинный русский способ. Помогает между прочим.

Я впервые за всю жизнь наблюдал храбрых пожарных в роли водворителей общественного порядка.

Армейскую пехоту с грехом пополам утихомирили, усадили в вагоны и протолкнули на московскую линию. Нашу партию собирали два часа.

Двенадцать душ так и не нашли. Пропали без вести. Как в настоящем «сражении».

«Дядьки» и вагонные старосты сбились с ног. Начальник конвоя, топорща прокопченные трубкой рыжие усы, грозил нам с подножки своего вагона:

– Хулиганы!.. Драчуны!.. Подождите! Дай бог только добраться до Петербурга, Там вам покажут. Возьмут голубчиков в оборот. Всю дурь повытрясут.

Но это говорится «для проформы». Все начальство понимает, что этим способом новобранцы изливают свою тоску, и что, не будь этого, они начали бы громить что-нибудь более важное с точки зрения «государственных устоев».

* * *

В вагоны натаскали груды щебня и песка. Во время движения поезда настежь открыты обе двери теплушки. И горе прохожему, попадающему в «сферу досягаемости».

Его обстреливают градом камней.

Когда камень удачно попадает в висок или в темя прохожего, из вагонов несется одобрительный хохот. Рукоплескания приветствуют меткого стрелка.

А там, внизу, под насыпью оглушенный человек, отирая платком выступающую из раны кровь, грозит нам в бессильной злобе кулаками.

– Жулье!.. Чингисханы!..

Кое-где в вагоны затащили девок и держат на положении арестованных.

Едем. Едем. Едем.

Отмечаем слезами и кровью каждый шаг.

Кровавая дорога и нерадостная...

* * *

Какая масса леса!

На протяжении тысячеверстного пути по обеим сторонам плотной стеной стоят нетронутые хвойные и лиственные

массивы.

Изредка мелькают желто-бурые волнистые просторы полей, маленькие деревушки и села с деревянными церковками и запечатанными по случаю войны «казенками».

Рядом с хорошими сосновыми избами под железом ютятся жалкие покосившиеся хибарки на курьих ножках с бараньей брюшиной в окнах вместо стекол. Это – у самой «чугунки», а что же дальше?

Дальше патриархальный быт, кремень, трут, лучина, лешие, водяные, домовые, ведьмы, колдуны, знахарки, громовые стрелы, килы, почечуй, бог, Илья-пророк, разъезжающий на колеснице по небесной мостовой.

Культура дальше чугулки не идет. И вот эту многоликую, серую, вымирающую от дикости, темноты и налогов деревню взнуздали, пришпорили, вздернули на дыбы и сказали:

– Иди и бей немца, ибо немец есть враг мировой культуры...

Пермяки и вятичи, оторванные от обычного труда, призваны защищать не только веру, царя и Отечество, но и «мировую культуру».

* * *

На станции «Уклейка» разгромили буфет, разграбили все до последнего кусочка.

Теперь громят на каждой станции.

– Кровь проливать едем!

– Чего там? Бей! Бей!

И бьют. Разносят в щепы буфеты, ларьки, лавчонки, лотки.

Все, как водой, смоеет через десять минут после нашего приезда на станцию.

Буфетчики в ужасе разбегаются.

– Кровь проливать едем, а вы, паразиты, наживаетесь тут!

– Бей, не жалея! Бей!

– Синя дудка моя, ух-я...

– Веселуха моя ух-я!..

У дядьки нашего вагона, Чеботаренко, длинные пушистые усы и маленькие миндальные глазки.

Грустно качая бритой головой, он спрашивает меня:

– Що же такое робится на билом свити? Що робится? Очумели хлопци зовсим.

Шалости новобранцев по сравнению с тем, что готовит начальство на фронте – микроскопическая капля в море.

– А ну, хлопци, давайте-ка лучше солдатские песни спивать, – суетится Чеботаренко, сбивая в тесный круг непокорную толпу.

– Давай! Давай!

И смешно балансируя негибким телом, по-птичьи взмахивая руками, дядька заводит:

– Пишет, пишет царь Германский,

Пишет русскому царю... гу-гу-гу...

Неожиданно ставшая дисциплинированной людская масса стройно подхватывает:

– Всю Россию завоюю,
И тебя в полон возьму... гу-гу-гу...

Хорошо поют новобранцы. Дядькины глаза-миндалинки увлажняются. Он весь в движении, в экстазе творчества. Дирижирует и руками, и ногами, и губами, и головой.

Он доволен, дядька. Еще бы: дисциплинирует новобранцев патриотической песней...

У Анчишкина раздвоение. Как западник, как человек высокой культуры, он должен проклинать новобранцев за их грубость, за грабеж. Как патриот, он должен им все прощать, быть оптимистом, ибо это – живая сила страны, опора, народ-богоносец, который...

И он, часами не вылезая из своего угла на верхней полке, благоразумно закрывает на все глаза. Прячет совесть в пушистых ресницах и молчит, молчит...

Граве, видимо, во власти тех же противоречий. Когда я указываю на разгром буфетов, он сердито отмахивается руками и, ворочая синими желудями глаз, бормочет что-то невнятное о пагубных последствиях татарского ига, которое, как известно...

Поля кое-где проросли грибами ржавых суслонов. Над ко-

роткой густой щетиной ячменя и буро-зеленого овса сутулятся белые рубахи мужиков, пестрые кофты девок и баб.

Страда.

И, взглядываясь из-под руки в серебряное сверкание отполированных соломой серпов, Анчишкин садится на своего любимого конька.

– Запад и мы. Там вот машины, а здесь дубина. Там «Осборн Колумбия», «Эльворти». Здесь – серп, лукошко, горбушка-коса, самоделки-грабли. Ох, как далеко обогнал нас Запад!

* * *

Каменный двор, нагретый осенним солнцем, принял эшелон в свое пыльное чрево. Выстроили в две шеренги. Явился старенький генерал в грязных лампасах. «Увещевать» начал.

Говорит о родине, о долге, о чести гвардейского мундира, который нам предстоит носить...

Говорит долго, маятно. Слушать его нудную казенную речь тяжело. Все, что говорит он, известно из газет. Новобранцы слушают, понуро опустив головы вниз. Фетишизм генеральских эполет магически давит на их психику, но сухие слова генерала летят мимо, не доходя до сердца, не проникая в сознание.

Дневной зной висит в воздухе, сгущенный запахом земли, пересохших трав и паровозной вонючей гари.

Каким-то тяжелым прессом давит грудь, выжимая из тела испарины пота. Часто и беспокойно колотится сердце.

Хочется новых, освежающих, великих слов. А он все говорит так тускло, безграмотно и необедительно!

– Поняли, братцы? – кричит генерал. И, не дожидаясь ответа, торопливо вытирает платком вспотевшее красное лицо.

Робкий нестройный гул пробегает по сомкнутым рядам новобранцев.

Большинство натужно молчит.

Генерал окидывает всех взглядом, сверкающим тупой яростью. Изменившимся голосом кричит резко и грубо:

– Сопляки! Мальчишки! Сволочи! Щенки! Буфеты грабить! Защитники родины!

В потоке ругани генерал странно преображается. Перед этим он казался неловким актером в чужой роли, играющим с первой репетиции под суфлера.

Его отборную ругань слушали гораздо внимательнее, чем «научные» рассуждения о долге и совести.

Все знают, что ругается он «для порядка»...

После генерала вынырнул откуда-то священник с аналоем. Дядьки скомандовали снять шапки, подогнали ближе к аналою.

Молились с обнаженными головами под открытым небом.

Просили бога о «даровании побед российскому православному воинству», о здравьи «царствующего дома», о «ненавидящих и обидящих нас».

По окончании молебна священник говорил проповедь.

Говорил то же самое, что и генерал, только иными словами. Кропил нас святой водой и ласково просил не громить в дороге буфетов и колбасных лавочек. Умолял не поддаваться козням дьявола...

* * *

Ни увещания генерала, ни назидания священника впрок не пошли. На первой же станции опять разгромили буфет, проломили голову буфетчику.

– Уж везли бы хоть скорей, прости господи! – вздыхает дядька соседнего вагона, зашедший в гости к нашему Чеботаренке. – Беда чистая с ними, такие галманы.

– Ведь нас порасстрелять могут за это дело. Им что? Они новобранцы, присяги не принимали, стало быть с них и взять-то нечего. А кто в ответе? Конечно, дядьки. Зачем, скажут, смотрели? Почему допустили? Верно говорю?

Чеботаренко утвердительно кивает головой.

– Я тоже кажу так.

– А ты попробуй, «не допусти» их. Попробуй!

Чеботаренко молчит, попыхивая трубкой, прячет хитрую усмешку в глубине миндальных глаз.

– Пойтишь и нам, нешто, на боковую? – говорит Чеботаренко своему коллеге, выбивая об пол вагона трубку.

– Пойдем-ка и то, – равнодушно бросает тот и свешивает

ноги за борт вагона.

С могучим храпом останавливается паровоз у маленькой станции, затерявшейся в дубровах.

* * *

Чем ближе подъезжаем к Петербургу, тем сильнее неистовствует и озорует эшелон.

Бьют стаканы на телеграфных столбах, стекла в сторожевых будках и вокзалах, обрывают провода.

В нашем вагоне появились ящики с продуктами, картинками, окорока, связки колбас, баранок. Трофеи.

На одной немудрой станции встретили чуть не в штыки. О наших художествах была дана телеграмма местному начальнику гарнизона. Он выслал на вокзал дежурную полуроту в полной боевой готовности.

Не знаю, какой наказ был дан дежурной полуроте, но она вела себя довольно агрессивно.

Кое-кому из наших забияк пришлось познакомиться с прикладом русской трехлинейной винтовки.

Холодная вода и приклад почти равноценны. Все присмিরели и до самого отхода поезда не выходили на перрон. Архангелы с винтовками разгуливали под бортами вагонов, ехидно улыбаясь и многозначительно подмигивая.

Только после третьего звонка из вагонов полетели камни, цветистая ругань, горсти песка.

Наши мстили полуроте за «обиды».

Петербург.

Все как-то сами по себе стушевались и вошли в «норму».

Закончились шутки, баловство.

Гудели, как пчелы в цветнике, но было в этом гудении что-то новое.

Коноводы драл; поблекли, притихли.

Может быть, это город-гигант придавил всех своим волнующим величием?

Пригнали в казарменный двор.

Плотным бурым гримом ложилась на влажные размягченные лица городская пыль. Пахло асфальтом, помоями, жженным камнем и гнилью.

Выстроили в две шеренги и продержали неподвижно несколько часов. Ждали генерала.

Для начала недурно.

Явилась комиссия: генералы, полковники, обер-офицеры.

Один из членов комиссии, вооруженный мелом, писал на груди каждого новобранца какую-нибудь цифру – номера полков.

Началась разбивка по запасным батальонам.

Встали рядом я, Граве, Анчишкин.

Я был в старенькой любимой студенческой тужурке. Генерал задержался около меня, раскуривая папиросу.

– Студент? Какого факультета?

Я ответил.

Молоденький поручик вывел мелом на правом боку моей тужурки затейливую семерку. В раздумьи остановился перед Граве, жирно черкнул и ему, и Анчишкину по жирной семерке.

Комиссия двинулась дальше. Моему соседу слева поставили шестерку. Он шепотом выругался.

– В третью гвардейскую дивизию меня ахнули!

– Чем плохо? – спросил я, поворачивая к нему голову.

– Дисциплина каторжная; у меня тамotka брат служит, знаю.

* * *

Неприветливо встретила нас казарма. «Государево войско», а житьишко немудрое.

Грязь, темнота, теснота. Натолкали, как снопов в овин.

Нары в три яруса. На верхних душно, не продыхнешь, на средних и нижних глаз раскрыть нельзя: мусор сверху сыплется.

Стены казармы «живописно» размалеваны.

В неряшливых линиях рисунков и орнаментов чувствует опытная рука суздальского художника.

Содержание картин любопытно.

Изображена в лицах «История государства Российского». На первом месте, конечно, подвиги армии, содействующие росту и укреплению «родины».

Под картинами выведены изящной славянской вязью пояснительные тексты.

Русские везде побеждают. На какую стену ни взглянешь – всюду постыдное бегство неприятеля.

Бегут монголы, татары, кавказцы, англичане, немцы, французы, турки. Больше всего досталось от суздальца туркам. С турками у русских царей исконная вражда. Воевали много раз.

Беглый осмотр казарменных стен приводит к заключению, что история российской армии состоит из одних подвигов.

* * *

Начальство сразу взяло нас в ежовые рукавицы.

Отделенные и взводные – не то, что сопровождавшие в вагонах дядьки.

Строгость – ни охнуть, ни вздохнуть; ноги протянуть без санкции начальства нельзя.

В уборную хочешь – иди с рапортом к отделенному ефрейтору.

Ефрейтор – начальство шибко маленькое, но мат зверюга, да зубастый.

Куражится ефрейтор над солдатом больше, чем любой полковник.

Полковник далеко, когда еще попадешь ему на грозные

очи, а ефрейтор всегда под боком; пилит и тянет ежечасно.

Сапоги на поверке не блестят – наряд вне очереди. Пуговицы тусклы – наряд.

Клямор¹ не блестит – гусиным шагом ходи.

* * *

Известные общественные круги, те самые, что погнали народные массы на войну, в Петербурге, естественно, больше всего расцветчиваются в нарядные одежды патриотизма и шовинизма. Высшие и средние слои буржуазии и чиновничества везде демонстрируют национальную гордость, непримиримость и воинственный пыл, благо сами они прочно окопались в тыловых штабах и канцеляриях.

Разговоры о войне буквально висят в воздухе. Несчастного немца склоняют на все лады.

Петербургские немцы и чухонцы ежедневно подвергаются оскорблениям. Некоторых под шумок избивают в темных переулках.

Особенно ретивые патриоты агитируют за немецкий погром.

Все, кто кормится и рассчитывает кормиться от войны, громко кричат о непоколебимой мощи российского и союзного воинства.

¹ По всей видимости, автор имеет в виду «кляммер» – приспособление для крепления пуговиц на фуражку. (Примеч. ред.)

Смешно наблюдать это бахвальство невежд, не имеющих никакого представления о войне, о соотношении сил воюющих держав.

Читая ежедневно суворинские фельетоны, обыватель полагает, что он в курсе всех событий.

* * *

Нас спешно готовят для фронта. С утра до позднего вечера муштруют на плацу. Кажется, в военном деле самое главное – шагистика.

Часами маршируем изнурительным редким учебным шагом. Ежедневно проливаем семьдесят семь потов. Белье, гимнастерку приходится выжимать.

И откуда столько пота у человека?

На строевых занятиях взводные то и дело кричат:

– Крепче ногу!

– Ногу крепче!

– Вытягивай носок!..

Мы с остервенением вытягиваем носок и бухаем тяжелым сапогом в землю. Особенно крепко ставим ногу после предварительной команды.

Народ как на подбор: рослый, здоровый, каждая нога – пудовая кувалда.

А начальство, любуясь эффектом, зычно кричит:

– Крепше ногу! Крепите!..

Преображенцы и семеновцы шагают реже, не вытягивают носок.

Ходят, как армейская пехота.

Нас они вышучивают:

– Эй, вы!.. Это вам не Варшава. Здесь город на болоте стоит, ногами топтать не полагается.

* * *

От шагистики распухли ноги. Ночью их страшно ломит, и я не могу спать.

Удивительный народ полковые врачи.

Еще в университете я слышал много невероятного про их диагнозы, рецепты, методы лечения, но воспринимал это как анекдоты.

Оказывается, вся военная медицина – сплошной анекдот.

Все внутренние болезни и головные боли в армии лечат касторкой.

Внешние – йодом.

На осмотр десяти пациентов военный врач тратит не более пяти минут.

В его глазах все нижние чины – симулянты, которые стремятся при помощи медицины избавиться от военной службы.

Мои распухшие ноги тоже хотели смазать йодом.

Запротестовал. Фельдшер доложил о моей дерзости вра-

чу.

Врач взглянул на мои оголенные, уродливые от опухоли икры, поднял на меня невозмутимо-изумленные глаза и раздельно, внушительно скомандовал:

– Извольте выйти вон! Вы здоровы!

Не верил своим ушам и замер на стуле в оцепенении, в немой неподвижности.

Глаза врача как-то странно замигали:

– Нахал!.. Я тебе говорю или нет??

Как подхваченный пружиной, я вскочил со стула и начал надевать сапоги. Руки и ноги дрожали от жгучей обиды. Когда я оделся, врач фельдфебельским басом крикнул:

– Кру-гом!.. В казармы шагом ма-арш!

Больше в околодок никогда не пойду.

* * *

На уроках словесности никак невозможно удержаться от смеха.

Нарушаю смехом торжественное благочиние, и меня наказывают. Получил уже пять нарядов вне очереди.

Глупее солдатской словесности ничего нельзя и придумать.

Отделенные и взводные в словесности сами ничего не смыслят. Коверкают слова уморительно.

В нашей роте ни один человек не может выговорить пра-

вильно слово «*хоругвь*»². Говорят: «*херугва*».

Нужно знать всех особ царствующего дома.

Нужно знать все военные чины от ефрейтора до главнокомандующего.

Нужно знать фамилии всего ротного, полкового, бригадного, дивизионного и корпусного начальства. Всю эту тарбарскую премудрость мы как попугаи зубрим ежедневно.

Фамилии у начальства трудные, запомнить их – мука.

Штабс-капитана фон-Таубе солдаты зовут: «Вон Тумба».

Поручика Зарембо-Ранцевича – «Репа в ранце».

Подпоручика фон-Финкельштейна – «Вон Филька Шейн».

«Вон Тумба» и «Репа в ранце» вносят некоторое разнообразие в серую казарменную жизнь.

Когда я раздражаюсь гомерическим хохотом, взводный грозит набить мне «морду».

Пока еще не бил. А человек он «сурьезный», пожалуй, что и набьет когда-нибудь.

Тяжела ты, серая шинель!

* * *

Рано утром вызвали в кабинет к ротному командиру. Вежливо пригласил сесть.

² Хоругвь (от монг. «знак», «знамя») – религиозное знамя с образом Иисуса Христа, Богородицы или святых. (Примеч. ред.)

– Вы студент?

– Уже закончил, ваше высокоблагородие.

– Мы направляем вас в школу прапорщиков. Получили приказ. Через неделю вас возьмут из роты. Война, видимо, затянется. Предстоит большой спрос на офицерский состав. Вы рады, конечно? А теперь пока идите отдыхать, Я сделаю распоряжение, чтобы вас не выводили больше на строевые занятия.

– Ваше высокоблагородие... Я не поеду в школу прапорщиков.

На лице капитана удивление и, кажется, искреннее.

– Это почему-с? – голос звучит иронически.

И эта ирония замораживает меня. Становится неловко.

Говорить с ним не хочется.

– Не желаю.

– Полагаю, это не секрет? Объясните, пожалуйста, причины уклонения?

– Я не хочу занимать командную должность.

Он сокрушенно покачал головой.

– Это очень прискорбно. Ну, что ж. Я уважаю и мнения других. Только вы это мненьице оставьте уж лучше пока при себе. Думайте там себе, как хотите, по влиять в этом отношении на других – боже вас сохрани! Вам придется тогда познакомиться не только с полковой гауптвахтой, но с учреждениями, более приспособленными для исправления вредного направления мысли. Я в этом тверд, как скала. Имейте

в виду: не потерплю!

Когда я по его предложению поворачиваюсь на каблуках и шагаю к двери, он кричит мне вслед:

– А все-таки подумайте еще о школе. Рапорт я отложу до завтра.

Я остался при своем первоначальном мнении.

* * *

Немцы успешно продвигаются к сердцу Франции. Передовые колонны немецкой армии находятся в двухстах пятидесяти километрах от Парижа. На подступах к «городу революции» идут кровопролитные бои. Потери с обеих сторон колоссальны.

На нашем фронте пока затишье. Наши войска только разворачиваются.

Немцы нас не беспокоят.

План немецкого командования слишком ясен: сначала раздавить французов и затем всей силой обрушиться на неповоротливую русскую армию.

В связи с «предстоящими событиями» во Франции образовано министерство «национальной обороны».

Военное министерство возглавляется Мильераном. В кабинет входят также и Жюль Гэд, Марсель Семба. Эти люди называют себя социалистами.

В Петербурге ходят упорные слухи, что Париж в скором

времени будет занят немцами.

В печати появляются, вероятно, продиктованные французским посольством в Петербурге, осторожные заметки, напоминающие о том, что русская армия должна помочь союзникам отстоять Париж.

* * *

Анчишкин и Граве тоже отказались идти в школу прапорщиков. Оба рвутся на фронт, у каждого свои соображения.

Граве боится, что война закончится через несколько месяцев и ему не придется понюхать пороху.

Анчишкин торопится громить немцев и между прочим собирать материалы для поэм.

Мне, Граве и Анчишкину пристрочили красные погоны с пестрыми кантиками по краям.

Не хотел надевать. Фельдфебель пригрозил гауптвахтой. Гауптвахта – панацея от всех зол.

Погоны вольноопределяющегося дают некоторые плюсы и минусы.

Плюсы: офицеры стали более вежливо обращаться: вместо *ты* говорят *вы*. Только ефрейторы по-прежнему мне тыкают. Для них не существует фетишизма пестры-кантиков. Ефрейтор – выше закона.

Минусы: изменилось отношение солдат. Почувствовали во мне чужого человека. Мои «странности», на которые они

раньше не обращали внимания, всплыли теперь перед ними в новом фантастическом свете.

Вчера в обед я слышал, как новобранец Зимин говорил по моему адресу:

– Не иначе – для шпионства за нами приставлен. Почему он ходит с книжкой? Почему записывает все, что ни скажешь?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.